

У Генки жизнь начиналась с войны. Война вошла в его маленькую страну частой стрельбой и чужим говором. Вокруг было много слёз и крови. И были жуткие глаза, которые, падая, смотрели в небо. Их присыпали землёй, чтобы они не могли видеть чёрных и злых птиц, склёвывавших жизни. Генка прятался в бабкин подол и опрашивал:

— Баб, а баб! А почему они лежат?

— Кто?

— Дяди.

— Потому что жизни лишили.

— Как лишили?

— А так, взяли и лишили. Убили, стало быть, злодеи.

— Они смотрят.

— Кто?

— Дяди.

— Потому что не хотели умирать.

Генке трудно понять это чудовищное преступление. Ему было страшно, и он размышлял: «Разве можно лишить жизни? Я живу — значит, и они должны жить. Меня не будет — и их не будет, никого не будет».

— Они знают, что их убили?

— Помолчи, а то и тебя убьют.

— Тогда совсем никого не останется, да?

Его маленькая, полная детской фантазии и озорства розовая страна была растоптана, опустошена, разграблена. Зато в ней было много жёлтых патрончиков — правда, закопчённых и втоптаных в грязь, — однако, протёртые рукавом, они блестели и были вполне пригодны для игры. Бабушка с суеверным страхом выпрастывала Генкины карманы, бросала гильзы в уборную и крестилась. И так каждый день, потому что лишить Генку его страны было невозможно. Он убегал во двор и собирал эти проклятые гильзы, от которых одно беспокойство.

Генка хныкал и смотрел в окно, за которым хозяйничали гитлеровцы, ходили пьяными, ловили кого-нибудь. И здесь Генка делал очередное открытие.

— Баб, а куда дядю Колю ведут?

Или:

— Фашисты качели делают. Качаться будут?

— Дурень, это вешалки, — помрачнев, говорила бабушка и советовала Генке запоминать всё: убитых в большой общей яме, виселицы с качающимися в петле людьми и то, как рушился мир.

А мир рушился прямо на глазах, хотя Генка видел только одно: чужие люди распоряжались в нём, горланили песни и съели у бабки пять куриц и петуха. В его маленькой стране не осталось никого, кроме него и бабушки.

Дальше двора Генке запрещалось ходить. Генка приуныл. Ему так хотелось на улицу, ведь там так интересно! Но бабушка пугала его немцами и не спускала с Генки глаз.

— А откуда немцы? — спрашивал он.

— Из другой страны они, из лиходейской, — говорила бабушка.

Генка не понимал.

— Из другой улицы, да? Что за речкой?

— Несмышлёный ты у меня, внучек. Вырастешь — узнаешь.

— Когда я вырасту?

— Скоро.

— Я хочу скорее. Хочу немцев прогнать.

— Горюшко ты моё! — вздыхала бабушка и принималась плакать.

Тогда Генка обхватывал ручонками седую бабушкину голову и успокаивал:

— Скоро папка с войны придёт, и мы их прогоним. Только не плачь, ладно?

А однажды Генка пропал. Бабушка с ног сбилась в поисках внука.

Спрашивала у немцев, но те лопотали по-своему, пучили злые глаза, отпихивали старушку прикладами. Тогда она кинулась к старосте.

— Большевичонок он! — с ненавистью сказал староста. — Я б их всех на осинах поудавлял!

Генку нашли на соседней улице, в кустах, у речки. У него был перебит позвоночник. Когда Генку внесли в дом и осторожно положили на лавку, он был ещё жив. В худеньком тельце пятилетнего ребёнка слабо постукивало сердце. Бабушка как увидела внука, так и грохнулась на пол, забилась в безудержном рыдании.

Мальчик открыл глаза и тихо пролепетал:

— Я был... у них. Совсем недалеко... страна иха. Я укусил немца. Не плачь, баба... я отомстил...

Он, наверное, хотел повернуть голову и не смог. Он мог только говорить и смотреть в потолок — тело его было мёртвым, ватным, но жила душа, которую не смогли убить фашисты. Они также не смогли убить открытие, которое Генка неожиданно для себя сделал: та страна наша, и совсем она не немецкая.

— Баба, меня ведь тоже убили... да? А я живой. И все... живые. Они не могут... убить нас.

Ночь прошла тревожная, умирающая. Вставало алое солнце. Яркий восход разлился по земле, как выпущенная из жил врага холодная кровь. Смутные тени дрожали на пыльных улицах. С листьев капала студёная роса, будто деревья плакали.